

Сам процесс их разглядывания приводит к эффекту «гашиша»:

Но, лихорадкою томимый,  
Когда неделями лежишь,  
В однообразьи их таинный  
Поймешь ты сладостный гашиш.

Гашиш в этих стихах, как и положено наркотическому средству, сладостен в той же мере, в какой и смертелен. Он не случайно сравнивается с липучей бумагой, на которую садятся соблазненные мухи:

И мух кочующих соблазны,  
Отраву в глянце затая,  
Пестрят, назойливы и праздны.  
Нагни грани бытия.

«Мухи» Анненского отсылают, конечно к апухтинскому сравнению «мухи как мысли», ибо речь в конечном итоге идет о наркотическом забытии интеллекта, погруженного в созерцание «глянца центифолий».

Мотив опьянения, при котором человек теряет цель и высокий смысл своего существования, отчетливо звучит и в стихотворении «С четырех сторон чаши». «Хмельно-розовый напиток», который человек пьет сначала «нежным баловнем мамаш», затем — согнувшись под наплывом лет, и, наконец, по привычке, тянущей его к «чаше, выпитой до дна», в итоге «усыпляет» *мечту*. И дно выпитой чаши столь же трезвит, как холод ночи и гробовщик в сенах «трактира жизни». Человека губит соблазнительная одурь существования. Позднее в «Трилистнике вагонном» она материализуется в облике укачивающего вагонного купе, а инерция дорожного забытья прямо свяжется с гибелью, с уничтожением:

Уничтожиться, канув  
В этот омут безликий,  
Прямо в одурь диванов,  
В полосатые тики!

В бытовой подоплеке речь идет всего-навсего о человеке, задремывающем на диване купе, обитого «полосатым тиком», но метафорически — это гибель для странствующего Одиссея, как гибельно шествие Ночи, обходящей по вагонам свои спящие жертвы. Так что Ахматова точно позднее скажет об Анненском: «Весь яд впитал, всю эту одурь выпил».

Однако самым утонченным и самым сильным соблазном в поэтическом мире «Тихих песен» была *красота*.

В стихотворении «Не могу понять, не знаю...», которое не вошло в состав «Тихих Песен», была такая строфа:

Из разбитого фиала  
Всюду в мире разлита  
Или мука идеала,  
Или муки красота.

«Мука идеала» — категория этическая, но здесь она кощунственно и соблазнительно подталкивает к мысли о «красоте муки», говоря о том, что страдание само по себе может стать предметом эстетического переживания, а сострадание — опасно соскользнуть в сферу созерцательного любования. Красота нейтрализовывала боль и муку, переводя их в разряд эстетических объектов, становясь своего рода «гашишем». И конечно, соблазн эстетизации страдания был эпохальным, гипнотически воздействующим на всю эпоху в целом. Иное дело, что Анненский один из немногих понял его опасность и поставил задачу его пре-